



# БОГЕМА



Harvard  
University  
Library

N 4



1915

А. ФРИЗОВЪ



## ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на новый литературно-художественный  
журнал

# "БОГЕМА"

ВЪ ПЕТРОГРАДѢ:

Абонементъ на 24 вып.: 3 р. — в.

» » 12 » 1 » 75 »

ВЪ ПРОВИНЦІИ:

Абонементъ на 24 вып.: 3 р. 50 »

» » 12 » 2 » — »

### Къ свѣдѣнію гг. авторовъ:

Рукописи должны быть написаны четко  
на одной сторонѣ листа. На отвѣтъ и  
возвращеніе рукописи слѣдуетъ прило-  
жить почтовую марку.

Пріемъ по дѣламъ редакціи: по поде-  
дѣльникамъ отъ 6—8 час., по субботамъ  
отъ 2—5 ч.

### КОНТОРА и РЕДАКЦІЯ:

Петроградъ, Горюховая, 42. — Теле-  
фонъ 115-33.



## Отъ Редакціи и «Студенческой Трудовой Артели».

Такъ какъ распространіе журнала „Богема“ при посредствѣ членовъ „Студенческой Трудовой Артели“ естественно вызываетъ у читателей вопросъ о вліяніи студенчества на направленіе журнала и о степени его участія въ изданіи, то Редакція и „Студенческая Трудовая Артель“ считаютъ необходимымъ выяснитъ этотъ вопросъ, тѣмъ болѣе, что вслѣдствіе перехода издательства изъ однѣхъ рукъ въ другія издательскія права „Студенческой Трудовой Артели“ нѣсколько измѣнились.

„Студенческая Трудовая Артель“ представляетъ изъ себя трудовую кооперацію учащихся высшихъ учебныхъ заведеній и преслѣдуетъ цѣли экономической самопомощи. Она смотритъ на себя и какъ на носителя идеи объединенія студенчества, вообще, на почвѣ коллективнаго труда, освобождающаго мало-обеспеченную часть учащихся отъ заботъ общественной благотворительности, и имѣетъ въ проектѣ, при увеличеніи числа членовъ и средствъ данной ассоціаціи, разносторонне развитъ свою дѣятельность на этомъ пути.

„Студенческая Трудовая Артель“ пользуется извѣстнымъ вліяніемъ на характеръ и направленіе журнала „Богема“, такъ какъ двое изъ ея членовъ входятъ съ совѣщательными голосами въ составъ Редакціи и ознакомлены съ готовящимся къ печати матеріаломъ; если «Студенческая Трудовая Артель» найдетъ помѣщеніе того или иного матеріала несовмѣстимымъ съ своими воззрѣніями и традиціями корпораціи, къ которой она принадлежитъ, то она пользуется правомъ veto. Но журналъ „Богема“ не можетъ быть названъ студенческимъ органомъ, такъ какъ онъ не задается спеціальной цѣлью отвѣчать запросамъ и интересамъ студенчества, какъ такового, и, само собой разумѣется, что сотрудники журнала не должны быть непременно студентами. Журналъ „Богема“ не преслѣдуетъ никакихъ цѣлей, кромѣ литературно-художественныхъ, — ни профессиональныхъ, ни партійныхъ, ни благотворительныхъ.

„Богема“ зоветъ къ себѣ всѣ молодые таланты — философовъ, поэтовъ, публицистовъ, художниковъ, обѣщая имъ самое внимательное отношеніе къ ихъ творчеству.









# БОГЕМА



№4 июнь

ПЕТРОГРАДЪ

1915 годъ.



## СОДЕРЖАНІЕ:

А. ЛОЗИНА-ЛОЗИНСКІИ . . . . .	Идеалъ (стих.).
ГЕОРГІЙ МАСЛОВЪ . . . . .	* * (стих.).
МИРМИДИ . . . . .	* * (стих.), Куклы (стих.).
Я. ЛЮБЯРЪ . . . . .	Мой романъ.
ДМИТРІЙ КАВЕРИНЪ . . . . .	О. Солоубъ.
Н. ОБЛОНСКАЯ . . . . .	Изъ книги „Смыслъ жизни“. Э. Рода (переводъ).

## Р И С У Н К И:

Н. ЛЕРМОНТОВА . . . . .	Посвящается памяти Поэта. Островъ съ замкомъ.
А. МОЧАЛОВЪ . . . . .	2 рисунка сангиной.
А. УХАНОВА . . . . .	Сборъ яблокъ.
М. ИВАШИНЦОВА . . . . .	Сепія.

ЗАСТАВКИ и КОНЦОВКИ: Л. Евреиновъ, Н. Лермонтова, М. Ш., В. Кокоревъ.

Обложка--А. ФРИЗОВЪ.





А. Лозина-Лозинскій.

# ИДЕАЛЪ.

Я знаю женщину и родину, которымъ  
Я посвятилъ себя, какъ молодой монахъ.  
Какъ странно, никогда я ихъ не встрѣтилъ взоромъ!  
Но я ихъ зналъ, ихъ зналъ въ готическихъ лѣсахъ  
Предъ моремъ сѣвернымъ, спокойнымъ мельхио-  
ромъ...

Тамъ коммendaцію я имъ принесъ въ мечтахъ.  
О, родина души! Тамъ кипарисы—юги  
Благочестивые и черные ведутъ  
Въ зловѣще-бѣлые прохладные чертоги,  
И гобеленомъ тѣнь упала на дороги...  
Тамъ маки страстные болѣзненно цвѣтутъ,  
Тамъ рядъ могильныхъ плитъ, углы ихъ четко  
строги,

Бамбукъ и эвкалиптъ, и зной, и тишь.. Ахъ тутъ  
Вассалы Сатаны псалмы поютъ,  
Иль, можетъ быть, уставъ творить добро и судъ,  
На оргіяхъ грустятъ, развратничая, боги...

И здѣсь... и здѣсь—она. Но какъ она ужасна  
На томъ, что правильно, печально и прекрасно!

Стоитъ на мраморѣ худа, мала, черна,  
Съ искривленнымъ лицомъ прелестная она  
И чиститъ апельсинъ, и въ смѣхѣ отчеканенъ  
Стальной и наглый бунтъ безстыднѣйшаго дна...  
Въ ней дерзко человѣкъ осмѣянъ и израненъ,  
Въ ней Саломея есть, Сафо, Карменъ, Нана.  
А рядомъ съ ней стоитъ, какъ сплинъ и глубина,  
Какъ изваяніе, и угловатъ и страненъ,  
Въ костюмѣ клѣчатомъ ужасный англичанинъ  
Зной. Кипарисы. Даль. И воздухъ чуть туманенъ

О, родина моя, гдѣ въ траурныя краски  
Закутались, какъ въ газъ, уродливыя маски.

К. Поляковъ.

\* \* \*

Огнемъ горитъ мой домъ кирпичный...  
Коричневая грязь, вся въ зайчикахъ панель,  
И блескъ отъ лужицъ необычный,  
И въ сердцѣ вновь весенній хмѣль.  
Но какъ нѣжны мои желанья—  
Меня оставила томительная страсть,  
Готовъ я въ тихомъ ликованьи  
Къ рукамъ ласкающимъ припасть.



Георгій Масловъ.

\* \* \*

Вотъ промелькнула ночь безсонная.  
Глядится день въ просвѣты шторъ,  
И вы уходите смущенная,  
Стыдливо уклоняя взоръ.

Какъ будто днемъ опять поставлена  
Межъ нами темная черта,  
И все, что ночью было явлено,  
Все снова призракъ и мечта.

И вы ужъ никогда не вспомните,  
Въ туманъ предутренній уйдя,  
Безсонной ночи въ этой комнатѣ.  
Подъ пѣнье лѣтняго дождя.

Мирмиди.

\* \* \*

Ты усталъ и я устала...  
Вечеръ тихъ, багрянъ и свѣтелъ...  
Другъ, тебя я не искала,  
Ты меня случайно встрѣтилъ.  
Средь цвѣтовъ и волнъ вуали  
Ты въ толпѣ меня замѣтилъ.  
Что глаза мои сказали,  
Я не помню. Ты отвѣтилъ.

КУКЛЫ.

Вотъ Паяцъ въ шапочкѣ пестрой  
Съ острымъ носомъ, лукавыми глазами.  
Вотъ Мефистофель, сухой и острый,  
Тоже въ колпачкѣ и шутитъ съ нами.  
Какъ они похожи, эти хитрые, оба  
Нашей скудной фантазіи дѣти.  
Неужели такъ забавна злоба?  
Иль смѣшного нѣтъ на этомъ свѣтѣ?







Я. Любаръ.

## МОЙ РОМАНЪ.

(Изъ книги „Неаполь и Капри“).

У меня здѣсь, на Капри, былъ свой романъ, маленькая нищая исторія, скорѣй всего лишь дальній отблескъ, только намекъ на какую-то и очень жалкую любовь. Героиней моего романа была немолодая сентиментальная нѣмка изъ Швейцаріи, изъ Цюриха, вдова, отдохавшая на Капри послѣ смерти мужа, оставившаго ей какіе-то гроши; она тратила ихъ очень экономно, живя впроголодь на проценты и отнюдь не беря съ капитала.

Она не была красива; ей было за сорокъ лѣтъ и у нея было мягкое, мятое лицо, съ морщинками около глазъ, но

черты его были довольно правильны, хотя и мелки; ея голубые глаза глядѣли немного потерянно. Волосы были слишкомъ жидки, особенно спереди, и это дѣлало некрасивымъ лобъ, который долженъ быть низкимъ у женщинъ. Въ профиль она была еще ничего себѣ, если не быть строгимъ...

Она была средняго для женщины роста, была терпима, скромна, но много, методично разговаривала. Впрочемъ ея взгляды были довольно правильны и точны. Она утверждала, что наврядъ-ли есть безсмертіе, любила старинную живопись, признавала свободную любовь, но подъ условіемъ душевной привязанности.

Мы, мужчины, называли ее между собой „выжатымъ лимономъ“ и смѣялись надъ ея влеченіемъ къ кругу артистовъ, надъ тѣмъ счастливымъ выраженіемъ лица, которое бывало у нея, когда она могла услужить кому-нибудь изъ своихъ ближнихъ—передать стаканъ кофе, одолжить почтовую марку... Она проповѣдывала, кстати сказать, любовь между людьми, которая должна была, по ея мнѣнію, дать счастье всѣмъ.

Эта женщина была немного влюблена въ меня, и я замѣтилъ это по тому, какъ у нея радовались глаза, когда мы встрѣчались въ кафѣ или на прогулкахъ, по неловкимъ движеніямъ, по той горячности, съ которой она брала мою сторону въ спорахъ, и по ея смѣху, неизмѣнно поддерживавшему всякую мою остроту.

Конечно, это не было искреннее чувство, которое заставляло бы ее красиво страдать. Но ей было 40 лѣтъ, она недавно стала совсѣмъ свободной и въ то-же время боялась мыслей о старости, которая уже настидала, уже просвѣчивала сквозь дни, какъ мутный призракъ; она была одинока, въ чужой странѣ, гдѣ ея никто не зналъ. Природа



и бездѣлье располагали ее къ мечтательности. Ей страстно захотѣлось, чтобы здѣсь, среди этихъ очаровательныхъ скалъ и гротовъ, у нея была-бы еще и любовь, которая приласкала бы ея воображеніе, и она, поискавъ глазами, остановилась на мнѣ, можетъ быть, потому, что я показался ей болѣе робкимъ и мечтательнымъ, чѣмъ другіе, или потому, что я былъ художникомъ, эскизы котораго ей нравились. Кромѣ того, въ сравненіи съ ней я былъ такъ молодъ...

Я рисую плохо. У меня плохія картины. Я знаю это самъ и не злюсь на это, такъ какъ я дѣйствительно чуждъ тщеславія, а всякое искусство... я люблю его, но люблю меньше того въ мірѣ, что толкаетъ къ искусству. Пожалуй, я не уважаю искусство и смотрю на свои занятія то, какъ на профессію, то, какъ на похоть своего рода... Поэтому, мои картины небрежны, почти всегда некончены, и въ нихъ ясно виденъ недостатокъ школы.

Я былъ и въ рисовальной школѣ, и въ академіи, но меня отовсюду своевременно выгоняли, въ юность за дерзкіе отвѣты „начальству“, потомъ за участіе въ политикѣ, за предсѣдательствованіе на сходкахъ, гдѣ мы торжественно выносили свое никому не важное порицаніе: ректору или профессору или какому-нибудь—нашему или иностранному правительству.

Но меня всетаки считаютъ талантливымъ, правда, только другіе художники. Остановливаясь передъ моими картинами, обыватели жмутъ плечами и говорятъ: „много такихъ“, либо подмѣчаютъ какую-нибудь неправильность перспективы, рисунка, невѣрность натуры (что вовсе не трудно найти на моемъ полотнѣ) и, схвативъ эту мелочь, ругательски ее ругаютъ, позабывая о всей картинѣ, и очень довольные случаю осуждать, критиковать, показать

себя людьми, которые тоже знаютъ толкъ въ искусствѣ, даромъ что они аптекаря и банкиры. Но художники (и, пожалуй, еще женщины) говорятъ: „да, что то есть, что то есть“... и они цокаютъ. Самые тонкіе разсуждаютъ такъ: «вы немного мистикъ, и это въ васъ ваше главное, а производитъ впечатлѣніе то, что у васъ мистика скрыта за реализмомъ. Но вы не выдержаны, мой другъ. И достаточно блѣдны... да...»

Швейцаркѣ мои картины страшно нравились. Она восторженно преувеличивала ихъ достоинства, говорила со мной, какъ съ великимъ маэстро, и отрицала и прощала всѣ недостатки, на которые я, стыдясь ея похвалъ, указывалъ ей самъ съ грустнымъ или легкомысленнымъ лицомъ... Ея любовь была для меня досадной.

Я приставалъ въ вѣжливой формѣ къ разнымъ женщинамъ, итальянскимъ аристократкамъ, американкамъ-туристкамъ и красивымъ рыбачкамъ; я таскалъ съ лживо-беззаботнымъ видомъ букеты и конфеты, былъ, несомнѣнно, тоньше, остроумнѣе и глубже всѣхъ, съ кѣмъ я конкурировалъ, но рѣшительно не имѣлъ никакого успѣха. Впрочемъ, не могу сказать, чтобы я слишкомъ этимъ огорчался, въ концѣ концовъ, мнѣ были понятны плоскость и вульгарность ихъ душъ, хотя ихъ таліи, ноги, большія бедра мучили мое дыханіе, стѣсняли мнѣ грудь... Мой умъ, о которомъ я бываю то очень худого, то очень хорошаго мнѣнія, совершенно не цѣнился, а мои остроты по большей части не понимались и на меня глядѣли съ недоброжелательствомъ, какъ на выскочку. Ихъ пахучая кожа, ихъ лицемѣрная одежда, а вѣдь у женщинъ она почему-то лицемѣрна, вотъ, во что я иногда чувствовалъ себя влюбленнымъ до боли. По большей части я мечталъ о тѣхъ, съ которыми я купался вмѣстѣ, и былъ иногда поразительно неразборчивъ на любовь.





Н. ЛЕРМОНТОВА.

Посвящается памяти Поэта.



Но любовь швейцарки меня оскорбляла. Я не получилъ ни одной красивой женщины и долженъ любить этотъ «выжатый лимонъ», разсудительную и некрасивую нѣмку по несчастному случаю потерявшую своего обычнаго мужчину. Вотъ такія могутъ мнѣ доставаться, да...

И когда я встрѣчалъ ее, во мнѣ пробуждалась несправедливая жестокость, которой я стыжусь теперь. Я былъ умышленно и чрезвычайно любезенъ, такъ корректенъ, что просто нѣтъ спасенія, и я видѣлъ, что она терялась и дѣлалась грустной. Поникала головой, грустно прихлебывала свой кофе и, чтобы понравиться, тоже рабски дѣлалась свѣтской и жалко веселой. Иногда меня это мучило и, не зная, какъ быть, я, раздраженный, спѣшилъ уйти.

Но больше всего я боялся, чтобы объ ея любви не догадались другіе, и не начали-бы надъ нами подшучивать.

И въ этомъ отношеніи я скоро замѣтилъ опасность.

У швейцарки, ее звали фрау Катерина Шнебель, былъ другъ. Это была толстая, черноволосая пожилая испанка, писательница, кажется немного извѣстная у себя на родинѣ, въ специальномъ кругу, конечно, какими-то сказками и театральными либретто; женщина съ невѣроятно отвислыми формами, чувственнымъ ртомъ, надъ которымъ чуть темнѣли усы, и низкимъ голосомъ. Она всегда говорила о загадочныхъ пинкертоновски-зловѣщихъ приключеніяхъ изъ своей жизни, вѣрила въ мистическія значенія чиселъ и предсказанія. И тѣмъ не менѣе она была довольно начитана по литературѣ, знала произведенія всѣхъ современныхъ писателей западной Европы и умѣла держаться въ писательскомъ кругу, какъ своя, не слишкомъ выскакивая въ серьезныхъ спорахъ и не показывая ни тѣни смущенія при двусмысленностяхъ.

Швейцарка полюбила ее съ пылкой восторженностью одинокой, постоянно гуляла съ ней вдвоемъ и ходила къ ней въ гости мечтать по вечерамъ. Тогда она пила кофе, а испанка—коньякъ.

Одинъ разъ, когда мы втроемъ поздно вечеромъ сидѣли въ кафѣ, эта испанка стала гадать фрау Шнебель по рукѣ. Она закатывала таинственно глаза и многозначительно молчала съ сжатыми губами и потомъ внезапно говорила что-нибудь, что поддавалось широчайшимъ толкованіямъ.

Такъ какъ я смотрѣлъ, чуть улыбаясь, то и фрау Шнебель сдѣлала немного скептическій и пренебрежительный видъ, хотя я чувствовалъ, что она страдала каждый разъ, когда ей приходилось быть неправдивой. Но она думала мнѣ нравиться.

Донна Анна (такъ поэтически звали испанку) пристально поглядѣла ей въ глаза и сказала, проводя ногтемъ по какой-то линіи ея руки:

— Вы видите, о, вы видите, у васъ есть страстность и склонность къ грѣху. Да, вы порочны! Вы порочны, моя дорогая. Но (она провела ногтемъ по другой линіи), вы нерѣшительны... Вы не изъ тѣхъ женщинъ, которыя завоевываютъ себѣ мужчину бурно...

Швейцарка потупилась и покраснѣла.

Я понялъ, что она когда-нибудь въ сентиментальный вечеръ рассказывала о своихъ страданіяхъ испанкѣ и та рѣшила энергично ей помочь, можетъ-быть даже не безъ согласія съ ея стороны. Мнѣ показалось, что все это гаданье происходитъ чуть-ли не по предварительному уговору, и я всталъ и отмѣнно-вѣжливо сообщилъ, что мнѣ пора.



— Ахъ вамъ пора уже...—вдругъ проронила нѣмочка,—  
но... но я тоже пойду домой. Я чувствую себя такой уста-  
лой послѣ вашего гаданья,  
дорогая...

И женщины поцѣловались  
— Я сдѣлала ошибку,—  
сказала Донна Анна басомъ,  
тяжело дыша, — не слѣдуетъ  
гадать на ночь. Ночь — цар-  
ство астрала...

Мы вышли съ фрау Шне-  
бель, но почему-то пошли на  
площадь, съ которой откры-  
вались огни, разсыпавшіеся  
внизу у моря, на Гранда-Ма-  
рина.

У меня было смѣшанное  
чувство. Мнѣ было и больно,  
и противно, и досадно, но было  
въ то же время и жалко ея.

Она шла рядомъ, очевидно,  
чуть бодрясь, но все таки,  
какъ виноватая въ чемъ-то,  
виноватая въ своихъ нечи-  
стыхъ мысляхъ, въ чувствѣ,  
которое хочется найти кри-  
стальнымъ, лишеннымъ раз-  
мышленія, полнымъ риска и  
самоотверженности, и которое  
не было такимъ у нея. Она  
имѣла маосознаваемую, смут-  
ную надежду, что я объяснюсь ей сегодня въ любви и  
заставлю ее согрѣшить. И она тоже урветъ что-то отъ

жизни, какъ всѣ другія, молодыя и бодрья. И поэтому  
она шла, молча и робко, и, бѣдняжка, не смѣла даже про-  
сунуть руку подъ мою; мнѣ  
бросались въ глаза ея узкія,  
слабыя плечи, мягкій контуръ  
спины и высокій лобъ съ взби-  
тыми жиденькими волосами.

Мы остановились у баллю-  
страды и стали смотрѣть въ  
темноту; мы оба испытывали  
то, что всегда чувствуютъ  
люди на высотѣ, глядя глу-  
боко внизъ, желаніе необы-  
чайнаго, тонкаго, душевнаго,  
порывистаго.

Она принимала это чув-  
ство за любовь ко мнѣ... а я...  
я думалъ о какихъ-то ска-  
зочныхъ царевнахъ, о тон-  
кихъ и умныхъ лицахъ, ког-  
да-то поразившихъ мое во-  
ображеніе, объ одной краси-  
вой, болѣзненной, смѣлой  
женщинѣ, въ которую я  
страстно былъ влюбленъ, ког-  
да мнѣ было лѣтъ семнад-  
цать, и отъ которой я ушелъ  
самъ, ничего не взявъ, ничего  
не добившись, потому что  
боялся ея разочарованія во  
мнѣ потомъ...

— Какая прелестная ночь,—нѣжно и немножко неувѣ-  
ренно, вопросительно сказала фрау Шнебель.



Н. ЛЕРМОНТОВА.

Островъ съ замкомъ.



— Всѣ ночи прелестны,—улыбнулся я и прибавилъ по черствости,—когда мы молоды.

Но она была слишкомъ трусливымъ человѣкомъ, чтобы понять смыслъ этихъ словъ невыгодно для себя. Она увѣрила себя въ томъ, что я въ веселомъ настроеніи, и сочла, что въ этотъ моментъ необходимо и можно пококетничать.

— Ну, я пойду и вы проводите меня до дому,—сказала она капризно, закуталась въ шаль и взглянула на меня.

Я ждалъ почти съ минуту съ отвѣтомъ. Откуда-то изъ моихъ глубинъ, а можетъ быть изъ глубинъ этой ночи во мнѣ вдругъ ясно выросла и захватила все мысль, что я могу, если захочу, каждую минуту взять и подчинить себѣ насколько мнѣ вздумается, на полчаса, на часъ, эту несчастную, жалкую женщину, и она будетъ еще потомъ благодарна, какъ бродячая собаченка, которую, наконецъ, накормили; будетъ привязана и даже готова на жертву... И мнѣ захотѣлось это сдѣлать, взять, а потомъ бросить, замучить ее, а себя задурманить, озлить, отравить еще однимъ отвратительнымъ воспоминаніемъ, однимъ маленькимъ грязненнымъ счастьемъ... И мысль, этотъ лакей настроенія, моментально подобрала въ двухъ словахъ цѣлую философію: „вѣдь все равно, жизнь—вздоръ. А ужъ тебѣ-то нѣтъ никакого спасенія, такъ ужъ ты запачкался и изолгался въ этой жизни. Чего же ты привередничаешь? Что ты строишь изъ себя, скажи на милость? Дурака или невинность?“

Я смотрѣлъ ей пристально и неопредѣленно въ глаза, потомъ взялъ за руку и сказалъ мягко, насмѣшливо, вкрадчиво:

— А можетъ быть вы проводите меня до дому? Вѣдь я живу такъ недалеко, въ Палаццо Каналэ...

Я почувствовалъ, какъ ея рука вздрогнула. Потомъ она медленно вынула ее изъ моей руки, опять кутаясь въ шаль, и вдругъ покачала головой, какъ будто бы въ отвѣтъ своимъ мыслямъ. Она поняла все сразу по моему долгому и хищному, нечистому взгляду и стала бояться моей насмѣшки.

— Пойдемте, продолжалъ я,—я покажу вамъ, кстати, новыя снимки съ Рафаэля и фотографію, помните, съ той головки Родэна, которой вы такъ восторгались. *La pensée*.

Я лгалъ. У меня не было ни Рафаэля, ни Родэна. Но моя грубость смѣялась во мнѣ: тамъ тебѣ будетъ не до Рафаэля!

Она молчала и чуть улыбалась, но грустно. Она становилась снова порядочной и разсудительной.

— Какой вы дурной... наконецъ сказала она тихо.

Это задѣло меня и тронуло. Въ ея голосъ было что-то искреннее.

— Вы думаете, что я дурной? Но, право, дурные всѣ, и добродѣтель не имѣетъ никакихъ шансовъ на успѣхъ...

— Нѣтъ, вы неправы. Вы хорошіи сами по себѣ и только васъ сдѣлали такимъ дурнымъ...

— Женщины. Пойдемте ко мнѣ...

Я говорилъ уже нагло и смотрѣлъ прямо въ глаза; я безстыдно предлагалъ ей голый развратъ, и это было слышно въ моемъ тонѣ.

Она покачала головой уже твердо и спокойно. Она рѣшила, что романа не будетъ, и все пустяки.

— Такъ я иду,—сказалъ я, чувствуя, что я сержусь на то, что эта женщина, любовь которой была оскорбительна для меня, теперь ускользаетъ, ускользаетъ, и я не могу ее удержать, взять, если я захочу.

Я не хотѣлъ ея, но я хотѣлъ сознавать, что, если захочу, то смогу...



— Прощайте,—она подала мнѣ руку и какъ-то не по-своему, еще болѣе жалко, чѣмъ всегда, взглянула и пошла.

Я поглядѣлъ вслѣдъ ея темному силуэту съ узкими плечами и побрелъ къ себѣ.

И это было все, это былъ единственный моментъ близости... единственный намекъ на любовь...

P. S. Мы не видѣлись нѣсколько дней, а потомъ, когда я увидѣлъ ее снова въ кафэ, я понялъ, что она уже дѣйствительно, даже, можетъ быть, совсѣмъ по настоящему влюблена. Воображеніе раздражило ее, близость грѣха, уже мелькнувшаго, не давала ей покоя. Она навѣрно уже

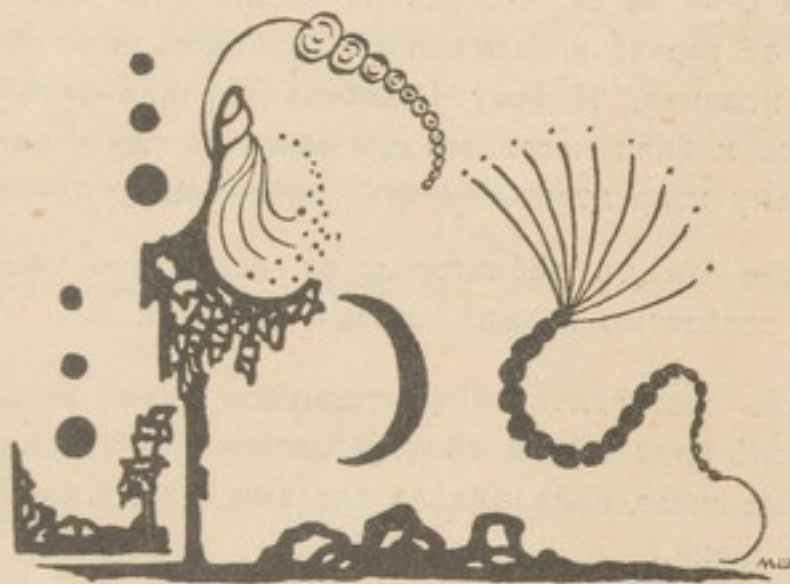
упрекала себя за то, что она не пошла меня проводить и, конечно, ее горячо и насмѣшливо упрекала за это ея другъ, жирная испанка. И фрау Шнебель строила мнѣ глазки, улыбалась и била носовымъ платкомъ по рукъ, но я былъ попрежнему корректенъ, веселъ, любезенъ...

Я даже имѣлъ неблагородство осторожно посмѣяться надъ ея слабостью ко мнѣ передъ друзьями.

Я былъ жестокъ и я не тронулся даже, когда одинъ разъ, послѣ злой шутки съ моей стороны, я увидѣлъ, какъ ея голубые глаза наполнились слезами и задрожали вялая, несвѣжія щеки...







Дмитрій Каверинъ.

## О СОЛОГУБЪ.

Нынѣ составляетъ она (литература) часть частной промышленности, покровительствуемой законами.

*А. Пушкинъ.*

Сейчасъ литература, какъ и всѣ виды промышленности, мобилизована,—гг. профессоры, литераторы и поэты съ благотворительной цѣлью освобождаются отъ залежалыхъ истинъ. Они въ упоеніи отъ обывательскаго паеоса, они освѣжили свою кровь въ общеніи съ массами.

Какъ нелѣпо покажется этимъ гг. профессорамъ вернуться въ университеты, къ синимъ петлицамъ и золотымъ пуговицамъ, послѣ бесѣды со всей Россіей. Литераторы же,

когда къ нимъ протянуты руки и господствуетъ повелительное наклоненіе „будь“, не хотятъ портить своей біографіи, проворно становятся „въ затылокъ“ (нужны милліоны, а не индивидуальности) и восходятъ по роскошно убранной цвѣтами и флагами лѣстницѣ, и идутъ туда, туда... въ „Лукоморье“.

Торжественно хлопаютъ двери лакейской, вѣдь за ихъ порогъ впервые переступили признанные, знаменитые, въ расцвѣтѣ славы поэты.

И среди нихъ—Федоръ Сологубъ.

Будто онъ встрѣтилъ своего таинственнаго армянина изъ „Маленькаго человѣка“ и тотъ подшутилъ надъ нимъ, опоилъ его отвратительными каплями. „Подулъ легкій сквознячекъ и... Сологубъ... крохотный, какъ пылинка, поднялся въ воздухъ. Закружился. Смѣшался съ тучею пляшущихъ въ солнечномъ лучѣ пылинокъ. Исчезъ“.

Вспомнивъ рассказъ „Маленькій человѣкъ“, вспоминаешь другіе, и тогда нѣжная прозрачная шелковая ткань съ едва уловимымъ рисункомъ, какой бываетъ только на крыльяхъ ночныхъ бабочекъ, волнистымъ облакомъ покрываетъ нашу жизнь. И забываешь сегодняшняго Сологуба, человѣка въ смокингѣ, лектора по искусству, учителя жизни по самоучителю Овсяннико-Куликовскаго и Венгерова.

Быть можетъ, люди сейчасъ хотятъ видѣть только текущій день.

„Толпѣ тревожный день привѣтенъ, но страшна

Ей ночь безмолвная. Боится въ ней она

Раскованной мечты видѣній своевольныхъ“...

И въ сегодняшнемъ движеніи, можетъ быть, многіе обрѣтаютъ свои истины и среди реальныхъ страданій на-



ходятъ свое счастье. Для тѣхъ ироніей будутъ звучать слова поэта о сладостной печали, и о смерти, что цѣлуетъ и ласкаетъ.

Вѣдь всѣ, я не знаю, кто они, но эти бессмертные всѣ, совершаютъ и при катастрофахъ спокойно свой вѣчный путь, человѣкъ же не знаетъ дорогъ, онъ мыслить, и кратка эта мыслящая жизнь. Хаосъ души его разсѣется тогда, когда онъ увидитъ „танцующую звѣзду“ своего пути, и душа его испытаетъ острую боль и сладостную печаль. Онъ самъ раскроетъ послѣднюю дверь, и встрѣтитъ его ласковая, прильнетъ, поцѣлуетъ, освободитъ изъ плѣна, уведетъ отъ всѣхъ.

— „Ты звалъ меня, и я пришла. Я не боюсь, и ты не бойся. Я дамъ тебѣ послѣднюю усладу жизни — поцѣлуй смерти, „и будетъ смерть твоя легка и слаще яда“.



А. МОЧАЛОВЪ.

*Рисунокъ саншиной.*

У Сологуба земля лишена челоуѣчества — прекрасный островъ вселенной, гдѣ живутъ въ типинѣ, въ томленіи одинокія души. А если и существуетъ это безликое челоуѣчество, то оно зло и жестоко.

Сологубъ не знаетъ земныхъ странъ, у него нѣтъ родины; его влечетъ къ себѣ не почва, а цвѣты, не солнце, а ночь свѣтлая звѣздами своими. Во имя общаго онъ ни разу не жертвовалъ своею личноcтью. Менѣе національнаго писателя еще не было въ Россіи. Для насъ это ново.

Мы привыкли вѣрить, что писатель, лишенный активности, жизнь котораго не выходитъ изъ границъ простыхъ явленій, не можетъ быть великимъ. Намъ нуженъ подвигъ, примѣръ. Жизнь Достоевскаго это необходимый для всѣхъ, въ особенности для интеллигенціи экспериментъ. Тол-



стой былъ жрецомъ, берегъ священные традиціи и не только писалъ, но и повелѣвалъ. Но, можетъ быть, все это происходило отъ недостатка культурности,—вѣдь люди вѣрили не идеѣ, а теплой, живой рукѣ, которая ихъ вела,—и когда наступило время болѣе правовое (по крайней мѣрѣ хоть опредѣлились пути), не нужными стали и вожатые. Простодушіе исчезло и сердца закрылись.

Отъ сущности, содержанія перешли къ формѣ, вмѣсто пророковъ и подвижниковъ появились мастера и искусники. И формы самой жизни стали упрощаться: есть, быть можетъ, и отвратительная, но неизбѣжная классификація, которая ясна и которую всѣ усваиваютъ. Однимъ словомъ, съ каждымъ днемъ мы все ближе и ближе къ Европѣ, и на новой позиціи легче рѣшаемъ всегда сложный для насъ вопросъ—гдѣ жизнь и гдѣ искусство.

Все современное искусство стало необходимымъ эскизомъ для нашей жизни: оно все въ намекахъ, это только арабески, шопотъ, краткія, обрывистыя мелодіи. Теперь нѣтъ картинъ, нѣтъ музеевъ, нѣтъ памятниковъ и храмовъ; это мы, живущіе, законченная форма всѣхъ этихъ мимолетныхъ набросковъ, мы—живые вымыслы художниковъ, скульпторовъ и поэтовъ.

Безсильно нѣжные, раздражающе привлекательные, усталые отъ неудовлетвореннаго томленія, съ длинными узкими кистями рукъ, съ узкимъ оваломъ лица—развѣ не Сомовъ создалъ этихъ людей, и развѣ слова ихъ не слова Людмилы и Саши Пыльникова, плѣнительныя и мелодичныя.

Сологубъ, какъ большой мастеръ, какъ поэтъ вла-  
дѣющій въ совершенствѣ композиціей стиха, имѣетъ свой

стиль. Стиль глубокій, сложный, выходящій за грани обыкновеннаго языка, но легко воспринимаемый, какъ внушеніе, какъ чарующая убѣдительность, благодаря своей гармоничности и своеобразной метрики.

Лексиконъ словъ его не богаче, чѣмъ у поэтовъ прежнихъ, хотя бы у Баратынскаго, но сочетаніе ихъ столь неожиданное, что слова эти получаютъ новую выразительность. У него исключительное чутье къ литературнымъ формамъ: романъ и рассказъ онъ создаетъ совершенно различными приѣмами, „Мелкій бѣсъ“ и „Снѣгурочка“—образцы этого изумительнаго чутья.

Мастерство Сологуба особенно проявляется въ маленькихъ рассказахъ, гдѣ душевно-точными оттѣнками онъ вызываетъ въ насъ предчувствія, тѣ волненія, когда неясныя тѣни сплетаются въ узоръ, въ которомъ слиты образы мечты и дѣйствительности въ единственно правильный рисунокъ.

Кто не испыталъ такого смутнаго, но радостнаго состоянія, тотъ, конечно, въ произведеніяхъ поэта видитъ только одну рѣзкую тѣнь отъ реальныхъ предметовъ. Многіе такъ грубо поняли его, всѣ тѣ, кто боялся себя довѣрить морю и кораблямъ, кто совершалъ спокойный свой путь верхомъ на ослѣ, борясь только съ упрямствомъ этого животного.

Каждый писатель современемъ узнаетъ, кто его читатель, но Сологубъ уже предчувствовалъ въ чьей библиотекѣ будутъ храниться его сочиненія. Въ Ламанчѣ, къ Донъ-Кихоту привела его мечта, и Рыцарю Печальнаго Образа онъ отдалъ всѣ свои сокровища.





### ИЗЪ КНИГИ „СМЫСЛЪ ЖИЗНИ“ Э. РОДА.

Очень хорошо. Да, я обманулся, когда я повѣрилъ, что достаточно открыть глаза на страданія другихъ, чтобы научиться любить, и что эта любовь, едва прошедшая въ сердце, уже создаетъ новаго человѣка—человѣка дѣла, энергіи и сердца—въ прежнемъ человѣкѣ безразличія и эгоизма. Я строилъ себѣ иллюзіи относительно себя самого: мои сны о гуманизмѣ, объ апостольствѣ, о милосердіи изодрались въ пути, и ихъ лохмотья висятъ на всѣхъ углахъ моей дороги. Мнѣ было достаточно видѣть нѣсколько публичныхъ сборищъ, чтобы понять, что есть мало надежды на толпу, что только индивидуумъ можетъ быть большимъ, и что уменьшеніе индивидуальныхъ силъ людей, соединяющихся въ группы,—есть приговоръ всѣмъ нашимъ коллективнымъ усиліямъ. Мнѣ было достаточно немного наблюденія, чтобы увидѣть, какая непреодолимость встаетъ на пути того, кто преслѣдуетъ благо рода, и какъ его добрая воля фатально приходитъ къ гибели отъ скептицизма всѣхъ другихъ и скептицизма собственнаго. Мнѣ было достаточно имѣть одинъ случай, когда я долженъ былъ бы пожертвовать пустякомъ въ своихъ удобствахъ, чтобы понять, что я былъ еще болѣе безсиленъ въ самоотверженности, чѣмъ въ дѣйствіи вообще; мы отослали обратно Розу; бѣдная дѣвушка уѣхала, плача; и такъ какъ ея ближайшая судьба

вполнѣ predetermined, то я отогналъ далеко отъ себя несносный вопросъ: чѣмъ она станетъ?

Если я продолжаю этотъ экзаменъ своей совѣсти, то помѣрю того, какъ я научаюсь лучше узнавать себя, я чувствую себя все дальше отъ того идеала, который на моментъ я думалъ было достигать. Я хочу отыскать, напримеръ, какъ далеко можетъ доходить моя способность состраданія (страдать съ тѣми, которые страдаютъ), и что же, крикъ собаки, которой колесо раздавливаетъ лапу, мнѣ дѣлаетъ такъ же больно, какъ крикъ каменщика, падающаго съ лѣсовъ, и я не болѣе взволнованъ чтеніемъ о какой-нибудь катастрофѣ, чѣмъ подробнымъ рассказомъ о смерти какого-нибудь животного: описаніе агоніи обезьяны въ „Маріэттѣ Саломонъ“ меня трогаетъ также, можетъ быть, больше, чѣмъ описаніе смерти „Дамы съ камеліями“. Для того, чтобы чужое несчастье достигло бы меня самого: напримеръ, какое-нибудь происшествіе на желѣзной дорогѣ или пожаръ въ театрѣ; это „если бы я былъ тамъ“ оставливаетъ мой умъ на каждой жестокой детали, мое воображеніе ставитъ меня на мѣсто жертвы и, если я полонъ жалости къ раздробленнымъ членамъ, расколотымъ головамъ и обуглившимся тѣламъ передъ дверьми, запертými грудой труповъ, то только потому, что я чувствую въ моемъ собственномъ тѣлѣ, въ моихъ костяхъ, и въ моей головѣ ихъ томленія, ихъ ушибы, ихъ задыханіе...

Но когда я жалѣю существа, страданія которыхъ постоянны и не могутъ быть моими, бѣдняковъ, дѣти которыхъ голодны, то я жалѣю ихъ, не раздѣляя, въ сущности, съ ними ихъ страданій, жалѣю при помощи мысленнаго усилія, волевого акта: чтобы разгорячить мое, сердце его надо убѣдить сперва; другіе остаются для меня чужими, меня не склоняетъ надъ зрѣлищемъ страданій дрожь жалости, безкорыстной и глубокой, и, чтобы облегчить ихъ, я не смогъ бы пойти на самоотреченіе.

Да, надо сознаться, меня обманули русскіе романы, и они заставили меня сдѣлать нѣсколько шаговъ по колеѣ, которая вовсе не моя. Я представляю себѣ, какъ она была





A. МОЧАЛОВЪ.

Рис. самимъ.



сыграна вся эта штука въ темныхъ комнатахъ безсознательнаго, гдѣ формируются и деформируются наши идеи: признавъ могущество того чувства, которое вдохновляетъ Толстыхъ и Достоевскихъ, я сказалъ себѣ, что было-бы хорошо испытать его, какъ они, и я сталъ его искать, и я подвергалъ себя специальнымъ умственнымъ возбужденіямъ, которыя могли-бы породить его: оно не пришло; я хотѣлъ поступать такъ, какъ будто-бы оно во мнѣ было—напрасно; этого мало хотѣть, обманывая себя... Увы! „Религія чело-вѣческаго страданія“ имѣетъ для насъ не больше значенія, чѣмъ всякая другая, и намъ воспрещаютъ ее тѣ же самые мотивы: мы можемъ разумомъ навязать ее себѣ и даже примѣнять ее въ жизни, какъ люди *comme il faut*, которые посѣщаютъ церковь, не вѣруя и „для примѣра“, но мы не можемъ познать въ ней того, что въ ней есть живительнаго и здороваго. Подобные тѣмъ холоднымъ теологамъ, которые видятъ въ христіанствѣ не болѣе, чѣмъ догму, мы находимъ въ себѣ только теорію милосердія. Откройте какой-нибудь изъ тѣхъ романовъ, которые воодушевляли русскихъ, и вы пальцемъ нащупаете разницу. Эту рѣку, выходящую изъ береговъ, благородный потокъ, катящій рыдающія и возмущенныя воды, наши писатели профильтровали и канализировали для ежедневныхъ нуждъ. Ихъ жалость—фабричнаго производства, хорошей марки иногда, но индифферентная въ концѣ концовъ, полная раздирающей сердце индифферентности, печально-безплодная, вздорная надъ несчастьемъ людей, которыхъ она сама съ благоразуміемъ и пренебрежительностью держитъ въ отдаленіи. Это жалость фарисея, который проходитъ, закрывая глаза, мимо раненаго странника. Это жалость любопытнаго и диллетанта, который хочетъ знать ее, для того чтобы знать, или потому, что онъ находитъ ее прекрасной, и который жонглируетъ ею, какъ всякой другой погремушкой—искусствомъ, любовью, порокомъ или добродѣтелью...

О, трижды несчастенъ тотъ, кто затронутъ этимъ гибельнымъ диллетантизмомъ.

Безъ размысленія, безъ расчета, подъ вліяніемъ своей натуры или духа времени онъ отдается соблазнамъ, опасности которыхъ онъ не замѣтилъ; это такъ легко, такъ сладко, это такъ „изящно“ играть идеями, ласкать ими свой умъ, извлекать ихъ сущность и элегантно пудрить ею свою жизнь, какъ богатый мотъ, опрыскивающий свой носовой платокъ духами, цѣна которыхъ позволила бы прокормиться нѣсколькимъ семьямъ. Внѣшность вещей давно измѣнилась: онъ хорошѣетъ онъ пріобрѣтаютъ смыслъ, знаки котораго понимаете вы одинъ, и голоса, которые вы имъ одолжили, поютъ хоромъ кантату о вашемъ превосходствѣ надъ другими, кантату, которую заканчиваетъ удовлетворяющій припѣвъ: „Будь благословенъ, Господи, что я не таковъ, какъ этотъ мытарь“... Потому что это фарисей всегда тщеславится пышностью. Для другихъ. для мытарей,—унизительная глупость принимать слова за то, что хотятъ сказать, вещи за то, чѣмъ онѣ кажутся; для насъ, для фарисеевъ, горделивое удовольствіе сдирать со словъ и съ вещей ихъ абсолютное, дотрагиваться до ихъ таинственныхъ случайностей и отражать въ нихъ безчисленныя грани. Для мытарей—вѣчный обманъ созерцать неизвѣстное, какъ сквозь стекло, плоское и безцвѣтное; для фарисеевъ—радость видѣть это неизвѣстное играющимъ, какъ солнце въ граненомъ алмазѣ, огни котораго опьяняютъ. Для мытаря—смиренно молиться въ закоулкахъ храма; для фарисеевъ обращаться, какъ равный съ равнымъ, съ Богомъ, царство котораго они имѣютъ снисходительность терпѣть рядомъ со своимъ затѣмъ, чтобы можно было взять Бога въ свидѣтели того, что они изъ себя представляютъ: „Будь благословенъ Господи, что я не таковъ, какъ этотъ мытарь“.

Но въ то же время чувство удовольствія отъ всего этого притупляется, какъ и при всякомъ опьяненіи: фарисей утомляется въ концѣ концовъ отъ радугъ, которыя зажигаютъ надъ всѣми вещами призмы его мозга: онъ хотѣлъ-бы тоже видѣть деревню сквозь свѣтлое стекло и видѣть ее зеленой и простой; сладкій отдыхъ для глазъ; но само стекло дѣлается въ свою очередь брилліантомъ и преслѣ-





А. УХАНОВА.

Эскизъ «Сборъ яблокъ».



дуетъ фарисея своими ослѣпляющими обманами. Перео-  
рачивая смыслъ словъ, выпрашивая смыслъ у вещей, онъ  
видѣлъ слишкомъ много вырисовывающихся въ нихъ про-  
тиворѣчій, которыя онъ хотѣлъ-бы теперь освѣтить; и эти  
противорѣчія дразнятъ его и осаждаютъ и онъ бредетъ  
ощупью въ густомъ мракѣ, который онъ напустилъ самъ,  
зажегши слишкомъ много свѣтильниковъ. Его терзаетъ  
огорченіе, приходитъ старость, а онъ еще чувствуетъ себя  
мужчиной, и вотъ въ немъ пробуждается огромная потреб-  
ность тоже пойти тайно помолиться въ закоулкахъ хра-  
мовъ и сложить съ себя тамъ свое страданіе, и знать, что  
онъ услышанъ, и повѣрить въ утѣшительные горизонты  
запредѣльнаго.

Тогда гордость фарисея рушится наконецъ; онъ чувст-  
вуетъ, что его гнететъ, какъ матерьяльная тяжесть, пу-  
стота, которой онъ окруженъ и которая заглушаетъ его;  
онъ возмущается противъ тираніи своего ума, изъ которой  
онъ сдѣлалъ неприступную крѣпость, и, ударяя себя въ  
грудь, онъ кричитъ: „О, Господи! Сдѣлай меня такимъ, какъ  
этотъ мытарь“. Напрасно: никакая сила не можетъ сдѣ-  
лать его инымъ, чѣмъ онъ есть. А въ то же время мытарь,  
мирный, исполняетъ безъ отвращенія свою урочную работу  
и ожидаетъ безъ отчаянія, когда придетъ смерть. Много,  
если изрѣдка, въ дурной часъ, онъ позавидуетъ на мо-  
ментъ судьбѣ фарисея, который обладаетъ, какъ вѣрить  
мытарь, самымъ великимъ благомъ, что Богъ далъ людямъ  
знаніемъ и мудростью...

И такъ какъ я неблагоразумно вступилъ въ секту фа-  
рисеевъ, то я не вижу для себя никакого другого способа  
спастись, какъ сузить тотъ горизонтъ, который я мечталъ  
расширить, и заключить себя въ узкій и очаровательный  
кругъ семейныхъ привязанностей. Тамъ, по крайней мѣрѣ, я  
смогу быть счастливымъ; тамъ я смогу забыть себя, самого  
себя, потому, что эти другіе, это все еще я; тамъ я смогу  
любить. Это маленькій счастливый домъ, который не ува-  
жается диллетантизмомъ: слишкомъ свѣтлыя улыбки мягко

покровительствуютъ ограниченности. Почему-же мнѣ не  
удовлетвориться этимъ свѣжимъ источникомъ радости, ко-  
торый не отказывается въ своей водѣ и моимъ губамъ. Про-  
стое исполненіе дневныхъ обязанностей, сладкія чувства,  
которыя безмятежно цвѣтутъ въ теплѣ у очага, спокойное  
благополучіе, что окружаетъ васъ среди фамиліной мебели  
и обоевъ, каждая складка которыхъ вамъ знакома, счастье  
видѣть, какъ растетъ существо, возвращающее вамъ увѣко-  
вѣченное изображеніе васъ самихъ, и счастье знать, что  
одно сердце вамъ предано—развѣ этого не достаточно. Мо-  
жетъ быть, это эгоизмъ, пусть будетъ эгоизмъ. Сумѣемъ,  
по крайней мѣрѣ, воспользоваться діалектикой, пріобрѣтенной  
нами за такую дорогую цѣну, освободимъ это слово отъ  
грубаго смысла, который ему навязываетъ вульгарный че-  
ловѣкъ и возвратимъ ему его достоинство. Эгоизмъ не  
есть низменный культъ самого себя, постыдное обожаніе  
своихъ слабостей, напускное равнодушіе къ страданіямъ  
другихъ, плоская удовлетворенность тѣмъ, что имѣешь:  
это священное право индивидуума болѣе сильнаго, чѣмъ  
масса, условіе его расцвѣта, смыслъ его существованія, его  
сила и его слава. И это еще не все: сумѣемъ распознать  
ничтожество тѣхъ великихъ словъ, что легкомысленная  
мораль ставитъ надъ человѣкомъ: Гуманность, Справедли-  
вость, Добро, Истина, Красота—вѣчныя иллюзіи, неосязе-  
мая химеры, хорошія для всѣхъ бѣдныхъ умовъ. Пусть фа-  
рисей будетъ послѣдователемъ по отношенію къ самому  
себѣ. Пусть онъ оставитъ мытарю заботу объ этихъ пу-  
стыхъ сущностяхъ, объ этихъ абсолютахъ, которыхъ ли-  
шила трона его мудрость, и такъ какъ онъ уничтожилъ  
ихъ смыслъ, пусть онъ откажется достигать ихъ. У него  
есть свой мирный пріютъ, чего большаго ему надо. Пусть  
онъ удовлетворяется улыбками, въ которыхъ ничто не ом-  
рачаетъ любви къ граціи, глазами, которые любятъ, доро-  
гими заиканіями дѣтскаго голоса, который звучитъ, какъ  
ангельская музыка, маленькой головкой, которую его рука  
можетъ ласкать,—всѣми этими радостями, наконецъ, что  
умножаетъ каждый часъ дня. Этого много, этого доста-  
точно...

Да, этого было-бы достаточно, если-бы не было смерти.





М. ИВАШИНЦОВА.

Соня.



II.  
Если-бы захотѣть классифицировать людей по ихъ интеллекту и нравственной цѣнности, то вотъ тѣ дѣленія, которыя, какъ я думаю, были-бы найдены.

Есть, прежде всего, большое количество умовъ вульгарныхъ и удовлетворенныхъ.

Когда ребенокъ видитъ впервые горы, онѣ ему кажутся границей міра, онѣ не подозрѣваетъ, что онѣ имѣютъ другой откосъ, болѣе обрывистый или покатый, и что съ той стороны открывается необъятность неизвѣстныхъ панорамъ.

Такъ чувствуютъ себя созданія, мало разсуждающія и неспособныя къ анализу въ проблемахъ сознанія и жизни; они не видятъ въ нихъ болѣе одной стороны; они представляютъ себѣ, что только эта одна сторона и существуетъ; и это всегда самое легкое, самое приемлемое—то, что даетъ безъ всякаго усилія иллюзію, что ничего не простирается тамъ по ту сторону. Удивительный инстинктъ руководитъ ихъ слѣпымъ движеніемъ по самымъ пологимъ склонамъ, гдѣ они шагаютъ, воображая себя на вершинахъ. И у нихъ есть презрѣніе или ненависть къ тѣмъ, которые, отыскивая другія дороги, желая перейти ту таинственную линію, которая закрываетъ горизонтъ, катятся въ пропасти или въ трясины. Эти добрые люди, по крайней мѣрѣ, тѣ изъ нихъ, что не только смотрятъ себѣ подъ ноги,—изобрѣли обкарнанныя антиноміи и категоріи, въ которыя они всовываютъ все, что проходитъ сквозь широкое рѣшето изъ узкаго ума, подобно тому, какъ въ мѣшки разнаго цвѣта ссыпаютъ зерна различныхъ сортовъ. Это Добро и Зло, Красота и Безобразіе, Истина и Ложь, Справедливость и Несправедливость, то, что прилично, и то, что нѣтъ и т. п., и никогда идея не задѣваетъ ихъ, если въ ней разграниченіе между этими абсолютами неясно.

Затѣмъ идутъ—пропуская промежуточные ступени—умы изящно разборчивые и недовольные. Они, эти, перевалили гору; они изслѣдовали всѣ тропинки; они знаютъ на нихъ всѣ опасныя мѣста, и опытъ, который они приобрѣли, раздирая себѣ ноги и рана свое тѣло, не для чего имъ не служить въ ихъ дальнѣйшемъ пути. Это пессимисты, скептики, циники, бунтовщики: желая знать слишкомъ много, они подвинулись впередъ меньше, чѣмъ если-бы они не познавали ничего. Передъ лицомъ проблемъ, противопоставленныхъ другъ другу, они не могутъ найти ту, на которой они установили бы равновѣсіе. Линія, настолько ясная, что другіе отлично ея видятъ,—для нихъ не существуетъ; противорѣчія, наиболѣе явныя, сливаются въ ихъ разумѣ, который ихъ нейтрализуетъ и сближаетъ крайности, напилось ихъ ума медленно разрушаетъ все, до чего онъ дотрагивается; и они завоевываютъ для королевства Неувѣренности, которое принадлежитъ имъ, одну за другой всѣ провинціи, въ которыя проникаютъ. Печальные завоеватели, которыхъ дѣлаетъ все меньше каждая новая побѣда. Печальные побѣдители, которые очень хотѣли бы кинуть свое оружіе. Но они не господа самихъ себя; они, презирающіе всѣ авторитеты, не могутъ ускользнуть отъ неизвѣстной силы, которая толкаетъ ихъ, и они идутъ всегда, истощенные, окровавленные, раздавленные, и сами говорятъ себѣ, что они не придутъ никогда...

Наконецъ, есть умы высшіе и спокойные.

Они тоже не допустили, чтобы горы, вздымающіяся на ихъ пути, закрыли-бы для нихъ даль; они тоже прошли по зеленымъ скатамъ и дѣвственнымъ пространствамъ; они тоже не одинъ разъ падали на каменистой тропинкѣ; съ пика всѣхъ вершинъ они созерцали всѣ пейзажи, и они знаютъ, что по ту сторону есть равнины, потоки и города, дальше, чѣмъ могутъ видѣть ихъ глаза, такъ далеко, какъ только летитъ ихъ мысль. Но это не напрасно они взбирались на вершины; ихъ грудь расширилась, ихъ мускулы окрѣпли, и теперь они пойдутъ до конца своего пути шагомъ увѣреннымъ и легкимъ. Гдѣ же, однако, нашли они тѣ подлинныя вѣхи, которыхъ не видѣли другіе. Какая



таинственная внутренняя работа преобразила для них тоскливые видѣнія въ спокойную достовѣрность. Изъ какихъ невидимыхъ элементовъ сложилась ихъ Вѣра.

Потому что это была Вѣра,—то, что они увидѣли съ высоты наивысшей вершины вѣра, которая утверждаетъ, или вѣра, которая отрицаетъ, вѣра которая дѣлаетъ ихъ

апостолами неба или ничтожества или прогресса—не все ли равно. Это Вѣра. Она побѣдила ихъ анализъ, она восторжествовала надъ ихъ критикой, и это было ихъ поражение.—то, что принесло имъ ихъ выставку побѣду...

Переводъ съ французскаго **Наталіи Облонской.**









52

20265

981

Цѣна 15 коп.

ВНѢ ПЕТРОГРАДА И НА ВОКЗАЛАХЪ ЖЕЛ. ДОР.

20 коп.